

Ко дню Шекспира. Иоганн Вольфганг Гёте

Мне думается, это благороднейшее из наших чувств: надежда существовать и тогда, когда судьба, казалось бы, уводит нас назад, ко всеобщему небытию. Эта жизнь, милостивые государи, слишком коротка для нашей души; доказательство тому, что каждый человек, самый малый, равно как и величайший, самый бесталанный и наиболее достойный, скорее устает от чего угодно, чем от жизни, и что никто не достигает цели, к которой он так пламенно стремится; ибо если кому-нибудь и посчастливилось на жизненном пути, то в конце концов он все же — часто перед лицом так долго чаянной цели — попадает в яму, бог весть кем вырытую, и считается за ничто.

За ничто? Я? Когда я для себя все, когда я все познаю только через себя! Так восклицает каждый смертный, и вот он большими шагами шествует по жизни, подготавливаясь к бесконечному странствию в потустороннем мире. Разумеется — каждый по своей мерке. Если один отправляется в дорогу бодрым шагом, то на другом — семимильные сапоги; он обгоняет его, и два шага последнего равняются дневному пути первого. Будь с ним что будет, но и тот ревностный странник останется нашим другом и нашим товарищем даже тогда, когда мы дивимся гигантским шагам другого, идем по его следам, измеряем его шаги своими.

В путь, милостивые государи! Вид даже одного такого следа делает нашу душу пламенной и возвышенной, чем глаzenie на тысяченогий королевский поезд.

Мы чтим сегодня память величайшего странника и тем самым воздаем честь и себе. В нас есть ростки тех заслуг, ценить которые мы умеем.

Не ждите, чтобы я писал много и тщательно. Спокойствие — не праздничный наряд, да к тому же я до сих пор мало думал о Шекспире: прозревал его, иногда ощущал, — выше этого я не сумел подняться. Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение. Я познавал, я живо чувствовал, что мое существование умножилось на бесконечность; все было мне ново, неведомо, и непривычный свет причинял боль моим глазам. Час за часом я научался видеть, и — хвала моему познавательному дару! — я еще и теперь чувствую, что? мне удалось приобрести.

Не колеблясь ни минуты, я отрекся от театра, подчиненного правилам. Единство места казалось мне устрашающим, как подземелье, единство действия и времени — тяжкими цепями, сковывающими воображение. Я вырвался на свежий воздух и впервые почувствовал, что у меня есть руки, ноги. И теперь, когда я увидел, сколько несправедливостей причинили мне создатели этих правил, сидя в своей дыре, в которой — увьи! — пресмыкается еще немало свободных душ, — мое сердце раскололось бы надвое, если б я не объявил им войны и ежедневно не разрушал их козни.

Греческий театр, который французы взяли за образец, по своей внутренней и внешней сути был таков, что скорее маркизу удастся подражать Алкивиаду, чем их Корнелиям уподобиться Софоклу.

Вначале как интермеццо богослужения, затем став частью политических торжеств, трагедия показывала народу великие деяния отцов, чистой простотой совершенства пробуждая в душах великие чувства, ибо сама была цельной и великой.

И в каких душах!

В греческих! Я не могу объяснить, что это значит, но я чувствую это и, краткости ради, сошлюсь на Гомера, Софокла и Феокрита: они научили меня так чувствовать.

И мне хочется тут же прибавить: «Французик, на что тебе греческие доспехи, они тебе не по плечу».

Поэтому-то все французские трагедии пародируют самих себя. Сколь чинно там все происходит, как похожи они друг на друга — словно два сапога, и как скучны к тому же, особенно in genere в четвертом акте, — известно вам по опыту, милостивые государи, и я не стану об этом распространяться.

Кому впервые пришла мысль перенести важнейшие государственные дела на подмостки театра, я не знаю; здесь для любителей открывается возможность критических изысканий. Я сомневаюсь в том, чтобы честь этого открытия принадлежала Шекспиру; достаточно того, что он возвел такой вид драмы в степень, которая и поныне кажется высочайшей, ибо редко чей взор достигал ее, и, следовательно, трудно надеяться, что кому-нибудь удастся заглянуть еще выше, удастся ее превзойти.

Шекспир, друг мой, если бы ты был среди нас, я мог бы жить только вблизи от тебя! Как охотно я согласился бы играть второстепенную роль Пилада, если б ты был Орестом, — куда охотнее, чем почтенную особу верховного жреца в Дельфийском храме.

Я здесь намерен сделать перерыв, милостивые государи, и завтра писать дальше, так как взял тон, который, быть может, не понравится вам, хотя он непосредственно подсказан мне сердцем.

Шекспировский театр — это чудесный ящик редкостей, здесь мировая история, как бы по невидимой нити времени, шествует перед нашими глазами. Планы его — это не планы в обычном смысле слова. Но все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки (ее, увьи, не увидел и не определил еще ни один философ), где вся своеобычность нашего Я и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Но наш испорченный вкус так затуманил нам глаза, что мы нуждаемся чуть ли не во втором рождении, чтобы выбраться из этих потемок.

Все французы и зараженные ими немцы — даже Виланд — в этом случае, как, впрочем, и во многих других, снискали себе мало чести. Вольтер, сделавший своей профессией чернить великих мира сего, и здесь проявил себя подлинным Ферситом. Будь я Улиссом, его спина извивалась бы под моим жезлом.

Для большинства этих господ камнем преткновения служат прежде всего характеры, созданные Шекспиром.

А я восклицаю: природа, природа! Что может быть больше природой, чем люди Шекспира!

И вот они все на меня обрушились!

Дайте мне воздуху, чтобы я мог говорить!

Да, Шекспир соревновался с Прометеем! По его примеру, черта за чертой, создавал он своих людей, но в колоссальных масштабах — потому-то мы и не узнаем наших братьев, — и затем оживил их дыханием своего гения; это он говорит их устами, и мы невольно видим их сродство.

И как смеет наш век судить о природе? Откуда можем мы знать ее, мы, которые с детских лет ощущаем на себе корсет и пудренный парик и то же видим на других?

Мне часто становится стыдно перед Шекспиром, ибо случается, что и я при первом взгляде думаю: это я сделал бы по-другому; и тут же понимаю, что я только бедный грешник: из Шекспира вещает сама природа, мои же люди — пестрые мыльные пузыри, пущенные по воздуху романтическими мечтаниями. И, наконец, в заключение, хотя я, в сущности, еще и не начинал.

То, что благородные философы говорили о Вселенной, относится и к Шекспиру: все, что мы зовем злом, есть лишь обратная сторона добра, которая необходима для его существования, так же как то, что *Zona torrida*[1] должна пылать, а Лапландия покрываться льдами, дабы существовал умеренный климат. Он проводит нас по всему миру, но мы, изнеженные, неопытные люди, кричим при встрече с каждым незнакомым кузнечиком: «Господи, он нас съест!»

Так в путь же, милостивые государи! Трубным гласом сзывайте ко мне все благородные души из Элизиума так называемого «хорошего вкуса», где они, сонные, влачат свое полусуществование в тоскливых сумерках, со страстями в сердце, но без мозга в костях и где, недостаточно усталые, чтобы отдыхать, и все же слишком ленивые, чтобы действовать, они протрачивают и прозевают свою призрачную жизнь среди мирт и лавровых кущ.

## Комментарии

В 1771 году молодые энтузиасты, принадлежавшие к движению «Бури и натиска», решили отметить в Страсбурге день Шекспира, приуроченный ими не ко дню рождения английского драматурга (23 апреля), а к «дню ангела» — дню Вильгельма (то есть Уильяма), 14 октября. Гете, находившийся в это время во Франкфурте, прислал текст своей речи. Кроме того, в отцовском доме во Франкфурте также состоялось торжественное поминовение Шекспира, на котором Гете зачитал свою речь.

Писатели «Бури и натиска» видели в Шекспире образец художника, близкого к природе и не подчиняющегося никаким сковывающим литературным правилам, предписанным последователями классицизма в XVII–XVIII веках. Шекспир был к концу XVIII века известен в Германии сначала в переводах отдельных пьес, затем в прозаическом переводе двадцати двух пьес, выполненном К.-М. Виландом (8 томов, 1762–1766). «Сон в летнюю ночь» был переведен Виландом в стихах.

Взгляды Гете на Шекспира сформировались под влиянием Гердера, который в то же самое время, что и Гете, написал критический этюд о Шекспире. Его статья появилась в сборнике «О немецком духе и искусстве» в 1773 году, тогда как речь Гете впервые была напечатана в 1854 году.

…глазение на тысяченогий королевский поезд. — Гете намекает на виденный им во Франкфурте в 1770 г. торжественный приезд молодой французской королевы Марии-Антуанетты в сопровождении многочисленной свиты в каретах, запряженных лошадьми.

…отрекся от театра, подчиненного правилам. — То есть французского театра, в котором ставились пьесы, строго соблюдавшие правила трех единств — места, времени и действия. Под влиянием Готшеда немецкие театры также придерживались этих правил.

Греческий театр. — Имеется в виду театр Древней Греции; некоторые особенности внешней формы драмы были восприняты драматургией классицизма XVII–XVIII вв., но не ее дух, на что и указывает Гете.

Алкивиад — древнегреческий полководец и государственный деятель (V в. до н. э.).

Корнель Пьер (1606–1684) — французский поэт и драматург, Гете видел в нем олицетворение поэтики классицизма.

Софокл — великий древнегреческий драматург, автор возвышенных трагедий («Эдип-царь» и др.; V в. до н. э.).

И в каких душах! В греческих! — Под влиянием Гердера Гете научился видеть в греческой поэзии и драме выражение духа народа, который жил в естественных условиях, был близок к природе и непосредствен в выражении чувств и страстей.

Феокрит — греческий лирик III в. до н. э. Воспевал простую и мирную сельскую жизнь.

…перенести важнейшие государственные дела на подмостки театра… (в подлиннике: «Haupt-und Staatsaktionen» — «главные и государственные действия»). — Так назывались пьесы народного театра, исполнявшиеся бродячими труппами в XVII–XVIII вв. в Германии. Название дано было серьезным пьесам в отличие от комедий и фарсов. Гете имеет в виду, что к такому типу пьес относятся хроники Шекспира.

Пилад и Орест (греч. миф.) — образец верной дружбы в античной мифологии и трагедиях.

Дельфийский храм. — В г. Дельфы в Древней Греции находился храм Аполлона, считавшийся центром мира.

Виланд Кристоф Мартин (1733–1803) — немецкий писатель-просветитель; хотя Виланд и перевел Шекспира, он все же испытал значительное влияние французской литературы XVIII в.

Вольтер (псевдоним Франсуа-Мари Аруэ; 1094–1778) — великий французский писатель-просветитель. Гете имеет здесь в виду то, что Вольтер, поссорившись с Фридрихом II Прусским, обличал его, рассказывая неприглядные подробности частной жизни короля, к которому Гете относился с почтением; Вольтер также неоднократно выступал с критикой Шекспира как «неправильного» драматурга и назвал «Гамлета» произведением «пьяного дикаря».

Ферсит — злобный персонаж в «Илиаде» Гомера. Улисс — там же выведен как образец мудрости.

Прометей. — По одному из греческих мифов, титан Прометей вылепил людей из глины.

А. Аникст

## Примечания

1 Тропическая зона (лат.).